

Словно мясо ножом—так любовь отрезает.
Дотянись, дотянись до прощения.
Будто стрелки в дворовой игре исчезают,
будто ты по цепочке, на звенья разъятой,
всё пытаешься выйти из тёмной пещеры...
И такое молчание невероятное,
и любая вода обращается солью,
и никак не нащупает выход Том Сойер.
Кто казак, кто разбойник на карте июля?
И в кого полетит злополучная пуля?
По условиям—чувства кривая
задевает, как стрелы, взведённые оси,
и по игреку входит в высокую осень.

Всё, что делает нас, по чуть-чуть убивает.

И поэтому будь наготове:
потерять, изогнуться, сломаться, разбиться,
не суметь устоять на обтёсанном слове,
а ещё быть подстреленной из-за угла
теми пулями, что ты вручаешь убийце,
тем оружием, что ты сама принесла.

Ненадетое колечко.
Надоело по уму.
Разыщу я человечка
И с собой его возьму.

Подниму его, отмою,
Буйный нрав его смягчу.
Хорошо, когда нас двое.
Будто едем по лучу.

По-над речкой, по-над кручей,
По земле и по углю.
Он потерян, он горячий.
Да ведь я его люблю.

Всяк мужик сейчас изношен.
Баба правит на возу.
Ни за что его не брошу,
В тёплый сумрак привезу.

Едем—кочка. Едем—тропка.
Разухабистый наш путь.
Едем-едем на растопку.
Едем-едем. Как-нибудь.

Стихи-то были... лопухи на грядке,
вода из крана с золотистой взвесью.
Потом они построились в порядке,
притихшие терпители репрессий.
И я над ними, как товарищ Сталин
с НКВД журнальным, надзирала.
Агутин пел, что музыка устала.
Не может быть, чтоб музыку украли.

Помятые, звенящие артисты,
скасающие в крохотной гримёрке,
фанерный звук в концертах полумёртвых
и режиссёр, на музыку не чистый,—
однажды просто сцену уступают
словам, не обречённым тормозами.
И музыка дорогу прорезает,
слекая.

Раз в году приезжаешь к родне
и стараешься быть на волне,
но течение мыслей относит
от их быта, где стынет река
прокасающего молока
и опоры стоят на откосе.

Ты, зелёный тепличный побег,
чем поможешь ты им, человек
надувной, помидорка столичная?
Запечён под московской фольгой,
ты настолько нездешний, другой,
что они тебя ловят с поличным:

мало шлёршь о себе новостей,
не заводишь собак и детей.
А работа? А выпить? А замуж?
Переходишь молчание вброд.
Прополов небольшой огород,
к легкокрылым делам уезжаешь

от их дома, где печка чадит,
где надежда берётся в кредит,
от малюсенькой точки на карте.
И о маме скучаешь сильней,
и обрубки усталых корней
волочишь через темень плацкарта.



Не пускают меня в раздевалку,
Говорят:
— Без петельки не смей.
Голова тридцать лет, приживалка,
Тяжелеет на шее моей.
Как-то всё хлестаково, брат Пушкин,
Мне темно, мне темно среди них.
Скачет ночь, скачет ночь в черепушке
С табуном вороних.



Много снега, мало денег,
Плачу ночью на полу.
Жизнь меня, как нитку, вдела
В узкоухую иглу.

Узкоухи, узколобы
Я, игла, они, оно.
Каждой ночью Пенелопа
Распускает полотно.

Было море... и озёра,
Компас, люди, корабли.
Был узор. И нет узора.
Нитка вьётся на мели.

Этой ниткой можно вышить
Путь домой, волнение вод.
Ткани нет. Лежит прокисший
За окошком небосвод.

Тихий плеск ассоциаций.
Шов неровный у судьбы.
Не порваться, не порваться,
Не порваться только бы.

Указ

Приказали на топоре внести
Указ—
без всяких там обходных лазеек:
бабушки плохо сидят в театрах,
бабушки плохо сидят в музеях.
Всех изгнать.
Переизбыток древностей.
Небо над городом начинает рдеть.
Есть ли разница бабушкам, где сидеть?

Сложностями времена прошиты.
Опасностей вдосталь.
Пусть сидят по домам под защитой.
Пусть сидят со всеми удобствами.

Не дали открыть и рта нам.
Загнали на дно, как ихтиандров.
Изгнали бабушек из музеев.
Изгнали бабушек из театров.
Бабушки стали таять.

Потому что, когда отвернулись
и когда от целого отрезают части,
через щёлочку оконную и дверную
жизни не достучаться.

Таяли, таяли и растаяли.
Культура стоит пустая.

Но я знаю: растаяв, осадком культуры став,
они выпали все на своих постах—
этим «чщщщ», прокатанном сквозняками,
этим слежением за руками.
Они там—бессменные и живые,
Вечные стражницы угловые.